

**ГОТОВНОСТЬ К БЕГСТВУ** — с ней я родилась. Еще в нежном возрасте, даже не понимая, что случилось, уже знала: может случиться вновь.

7

Говорят, в Гётеборге стоял солнечный апрельский день. Отец увидел меня и сразу дал венгерское имя: Кати. Но, по логике моей семьи, я получила другое, звучащее по-английски имя: Кэтрин, которое потом стало звучать по-французски: Катрин.

Я появилась на свет, и все сразу заулыбались... хотелось бы так думать. Семья моя состояла из отца, матери и двух ее дочерей от первого брака, на десять лет старше меня. Я пищала сутками — от голода: мать при беременности сильно пополнила и решила соблюдать диету. Кончилось тем, что у нее пропало молоко, и меня кормили разными детскими смесями из бутылочки.

Первые шесть лет моей жизни — четырехкомнатная квартира в доме миллионной\* программы в Каллебеке, потом очень похожий дом в Ханинге и, наконец, новенький таунхаус в Хегерстене в Стокгольме. Наши географические перемещения происходили параллельно с карьерой отца: вначале студент-медик, потом врач-ординатор с непоколебимым стремлением стать специалистом. Впрочем, все эти обрывки информации — адреса, этажи, планировка — никакого значения не имеют, они не могут поведать о жизни семьи ровным счетом ничего. Самым главным и определяющим в нашей жизни было одиночество. Одиночество стояло между нами, как тугая стена сжатого воздуха, шаги отдавались пустым мраморным эхом, а сердца колотились так, как могут колотиться только разбитые сердца.

Но я поняла это много позже.

Хотя еще до того, как одиночество начало расти, до того, как оно, словно медленно раздувающийся пузырь, стало занимать все больше места, прижимать нас к стенам, — задолго, задолго до этого я начала понимать, из чего оно состоит.

Отторжение изнутри.

Именно так я хотела назвать книгу: “Одиночество”. Это вымысел, а потому все, что тут сказано, — правда. Можно дать книге подзаголовок “Семейная история” или, скажем, “Документальная проза”. А мож-

\* В связи с экономическим бумом и наплывом рабочей силы в 1950-е годы в Швеции была принята так называемая миллионная программа строительства жилья; строили типовые, но очень качественные дома (похожая программа была принята в СССР Хрущевым). — *Здесь и далее примеч. перев.*

но назвать еще проще: *Книга*. Намерение у меня было вот какое: раз и навсегда назвать по имени призрак, преследующий меня всю жизнь, сколько я себя помню. Дать ему определение. Кто-то из философов сказал: назвать — значит, понять. Далеко не сразу я сообразила: “Одиночество” не подходит. Одиночество — симптом, а не сама болезнь. Симптом и следствие. Поэтому название книги пришлось изменить.

Центром экспансии моего одиночества была моя мама, Салли. Я ее обожала. И отец ее обожал. И она заслуживала обожания — с ее переменчивым, тут же отражающимся на лице настроением, с ее прекрасными серо-зелеными глазами и темными волосами. Она читала все подряд — газеты, книги, обсуждала политические дразги, обожала оперу, без всякого стеснения хохотала, если что-то ей показалось смешным. Она входила в комнату и сразу становилась центром внимания. Мои старшие сестры, а уж я тем более, всегда были в ее тени. Но это, думаю, нормально.

Одиночество матери было хорошо замаскировано. На первый взгляд — какое там одиночество, наоборот. Блестящая светская женщина, преподавательница английского, полно знакомых, которые, как мне казалось, все свободное время проводят на вечеринках и на танцах. И только мы, те, кто с ней жил, кто знал ее близко, понимали: весь этот светский лоск — всего лишь скорлупа, оболочка, тонкая, как слой карминного лака на ее ногтях. А под этой оболочкой — готовые в любую минуту прорваться

наружу тревога и даже злость. Тревога — о чем? Злость — на кого?

Понять собственное одиночество... Сначала надо понять одиночество матери.

Одиночество матери... а как быть с одиночеством *ее* матери, моей бабушки Риты?

А кто был мой дед, которого я никогда не видела?

10

Постоянно возвращающиеся картины детства. Думаю, именно такие картинки и называются детской памятью. Мама испекла на десерт *кух*\* с порошковым ванильным соусом. Порошок этот с одуряюще сладким запахом продавался в больших жестяных банках. Я очень любила ванильный соус, но сочетание цветов на банке — ярко-синий, красный и пронзительно-желтый — вызывало у меня страх и отвращение.

Ванильный порошок взбивают мутовкой в кипящем молоке, потом дают остыть и подают со шматком пенки толщиной не меньше сантиметра. Пенка лежит на сливочно-желтом соусе, как сургучная печать, — она считается особым лакомством. И тут же начинается — всем хочется получить эту пенку, маме, сестрам и мне. Но справедливость прежде всего. Кто-то идет в кухню за ножом. Дрожащую, как желе, ванильную пенку разрезают на равные части. Сестры начинают обвинять друг друга и спорить — кому больше досталось. Крики, слезы... Мама сер-

\* Традиционный немецкий сладкий пирог из дрожжевого теста.

дится, повышает голос. Банка из-под ванильного порошка с ее нелепо-кричащей, агрессивной раскраской тоже выглядит как вспышка ярости. Только когда мне исполнилось десять лет, я внезапно осознала: терпеть не могу молочную пенку.

Книгу я назвала “Отторжение”.

Миры рушатся, целостность распадается... какие, ей-богу, неопределенные утверждения. Обобщены настолько, что смысл ускользает. Я это сознаю. Писатель должен быть точным. И все же я выбираю эти банальные максимы как исходный пункт. Именно так: миры рушатся, целостность распадается. Причина одна: катастрофические формулы отражают истину. Будни взрываются, как кластерная бомба, а осколки летят через поколения. Для них нет препятствий. Крохотный городок в Испании, перенаселенный город в Османской империи, съемная квартира в Будапеште, тихое предместье Лондона, семья из пяти человек и кошки в Стокгольме. В конце концов эти острые вспышки проложили дорогу и ко мне — и я родилась с готовностью к побегу.

Оттого-то и пишу.